# Обида и раскаянье

# Сергей Снегов

Это рассказ о моем знакомстве с Анной Андреевной Ахматовой. Встрече с ней предшествовало несколько важных для меня событий. Главным из них было то, что в начале пятидесятых годов я завершил работу над первым своим романом «В полярной ночи».

Я взялся за него уже после того, как у меня отобрали паспорт и определили в бессрочную ссылку. В Норильске шла вторая волна «посадок», всех бывших заключенных («пятидесятивосьмерок», то есть осужденных по 58-й — хорошей статье из четырнадцати пунктов, их хватало на любые мыслимые и тем более немыслимые преступления) переводили из вольных в ссыльные. Нам, норильчанам, еще повезло. У нас отбирали паспорта «без отрыва от производства»: предварительно не арестовывали, не пришивали новых фантастических злодеяний, не премировали за несуществующую вину вполне реальными карами в форме новых лагерных сроков — просто вызывали, просто отбирали одни документы и просто выдавали другие. И почти вежливо говорили: «Место жительства пока старое — Норильск; отдаление от него на двенадцать километров карается каторгой сроком на двадцать лет. Вам ясно? Входите, кто следующий».

Многие мои друзья, успевшие после освобождения укатить «на материк», так дешево не отделались. Льва Гумилева, например, арестовали, продержали в Ленинградской тюрьме и отправили не то на 5, не то на 8 лет в какой-то сибирский лагерь. Миша Дорошин тоже похлебал тюремной баланды, а Виктор Лунев, о котором я еще расскажу, во второй тюрьме и втором ИТЛ так расстроил свое здоровье, что уже не смог его поправить и скончался в Усть-Каменогорске в возрасте, кратко именуемом «во цвете лет» (что-то около пятидесяти с небольшим).

Итак, став ссыльным, я бросился писать роман и закончил его через год или полтора. На новогоднем вечере наступающего 1952-го я пoзнакомился с Галиной Ленской, она быстро превратилась из очередной любовницы в жену, подругу и мать наших детей. Но Галя — особая тема, о ней надо рассказывать отдельно, ибо она — вся моя последующая жизнь, все мои человеческие и литературные успехи и неудачи. И уже в первые месяцы нашей близости она стала от руки переписывать мою пухлую рукопись, ибо моего почерка машинистки чурались как черт ладана. И все равно их приходилось упрашивать. В дальнейшем, чтобы избавиться от рабства, она сама научилась печатать — и с той поры не было ни одной моей литературной строчки, которая не была бы трижды перестукана ее пальцами, очень часто опухающими от перенапряжения.

А роман был отчаянной попыткой вырваться на волю — через литературу. В нем смешивалась правда и вымысел — но пропорции, свято чтимые Гете, не соблюдались. Правдой была природа Заполярья, характеры основных героев, дело, каким они занимались. Все остальное было камуфляжем, не просто искажением, а преображением действительности в стиле устоявшихся художественных канонов «письма как надо». Эти каноны, кроме, пожалуй, рассказов о давней крестьянской жизни, владычествуют в литературе и сейчас, и потому сегодня нет великих писателей — только хорошие и интересные. В неприкрытой фантастике порой больше реальности и правды, чем в парадном реализме иных литературных фаворитов.

Рукопись, тайно отправленную в Москву, моя первая жена Эсфирь Яковлевна Малых (такой она выбрала псевдоним) передала в «Новый мир». Я назвал себя Снеговым — вероятно, в наивной уверенности, что всегда буду писать о снеге, пурге и полярных ночах.

Александру Твардовскому и его заместителю Сергею Сергеевичу Смирнову роман понравился. Они сделали тщетную попытку напечатать его, а на мое честное покаяние в беспаспортности Смирнов ответил: «Ваше правовое положение не имеет отношения к литературе» (он впоследствии очень гордился этим своим высказыванием, да и мной гордился — как живым свидетелем его незаурядной смелости). Но их совершенно необычный для 1952 года поступок успеха не имел: секретарь ЦК Поспелов разъяснил Твардовскому, что до освобождения автора не должно быть и речи о том, чтобы впустить его в ли­тературу, а снятие ссылки не входит в компетенцию даже самых знаменитых редакторов самых знаменитых толстых журналов.

В 1954 году меня освободили из ссылки, а Твардовского и Смирнова — из «Нового мира». К редакторской власти пришли Константин Симонов и Александр Кривицкий. Кривицкий вспомнил о моем романе и заинтересовал им Симонова. Мне дали знать, что будут печатать, если я соглашусь на некоторые переделки. Потом обо мне говорили, что я трудный автор: капризен, упрям, не соглашаюсь на очевидные улучшения и вообще не способен слушать квалифицированные советы. Думаю, в этом мало правды. Помню свое тогдашнее состояние: чтобы выйти в печать, я согласился бы на любую переработку, лишь бы она не слишком противоречила моему представлению о художественности — в те годы очень примитивному, как сейчас понимаю. И я поехал в Москву — чтобы ускорить реабилитацию и посетить редакцию «Нового мира».

Реабилитация совершилась 29 июля 1955 года — очень заметный день в моей сумбурной жизни. Любовь Григорьевна Караганова, заведовавшая тогда отделом прозы (или поэзии? — забывать стал) повела меня домой к Симонову. Он тогда болел (ему прооперировали большой палец ноги). Жил он на Пушкинской площади, на седьмом, кажется, этаже, в квартире из цепочки комнат. На столе в столовой стояли тарелки с объедками и недопитая бутылка венгерского токая. В дверь заглянула Серова, холодно поздоровалась с Карагановой, сердито поглядела на меня и прошла дальше, не сказав ни слова. Мне показалось, что слухи о ее красоте сильно преувеличены — возможно, впрочем, что она просто не относилась к типу женщин, кото­рые мне нравятся. А вот Симонов понравился.

Он лежал на диване, прикрытый цветным пледом, красивый, уса­тый, темноглазый, приятно картавящий и «съедающий» каждое «л». Сначала он расспрашивал меня, потом стал задавать вопросы и я. Я ска­зал, что действие моего романа — второй военный год в тылу. Мне важно знать, могу ли я опираться на сведения о фронте, которых так много в симоновских произведениях (в частности — в повести о Сталинг­радской битве). Он ответил, что везде — правда, за единственным исключением: где-то он был вынужден написать — и не по собственному желанию, — что немцы приковывали своих солдат к пулеметам. Вот это — вранье. Впоследствии, перечитывая Симонова, я нигде не встречал прикованных пулеметчиков — вероятно, при переиздании он сам такие места выбрасывал.

Разговор шел вольный. Он сказал, что с началом войны почти у всех молодых пропало телесное влечение к женщинам: не до того было. Лишь в 42-м, раненый, в Ташкенте, он впервые за полтора года захотел близости — не то нянечка, не то медсестра раскрыла ему, что он еще не потерял своей мужской природы. Он спросил: а как было в лагере? Я честно признался, что скудный паек не стимулировал по­тенции, но не помню дня, чтобы не хотелось женщины. На войне было по-другому, повторил он.

Мы сразу договорились, что заключенных и лагерей в романе быть не должно. Это не пропустят, категорически заверил он. Я ска­зал: раз нет заключенных — значит, не может быть и рабочего класса, отдельные трудяги — да, но не масса, ибо масса ходила под конвоем. И партии — как коллективного литературного героя — не описать, ибо на севере она была привеском НКВД, рабочим органом чекистов, в Энкаведевии ее зажали в тисках политотделов, а раз я о них не говорю, то раздувание партийной роли будет слишком уж вызывающей ложью. Он заме­тил, что роман о стройке, в котором нет ни рабочих, ни партии, очень уж однобок. Я предложил вернуть старое название — «Инженеры», именно они, технические специалисты и административные руководители, были центром повествования. На «Инженеров» он не согласился, заголовок «Второй фронт» объявил претенциозным. «Не будем дразнить зарубежных гусей — они читают наш журнал, — объявил он. — Лучше перенесем на весь роман название третьей части — “В полярной ночи”». Я не возражал.

Еще он сказал, что надо сделать так, чтобы читатель понимал: термином «эвакуированные» (так называли некоторых людей, перемещенных из зон военных действий) зашифрованы заключенные. Это я обещал, но не уверен, что сумел сделать.

А потом, увлекшись, он заговорил о радикальной перестройке романа. Он бы написал его по иному плану и даже с другими героями. Он импровизировал. Он создавал совсем другое повествование — и придуманное им было куда интересней, значительней, художественней и ярче моего. У Симонова разыгралась фантазия, его охватило вдохновение. Неторопливо, картавя и не выговаривая «л», он разворачивал передо мной картины крупного литературного произведения — из тех, что надолго сохраняются в памяти читателя. В этом ненаписанном романе было все, чем сияет настоящая литература — драматические схватки, большие характеры, петли сюжета... Я слушал, зачарованный и восхищенный. Симонов предлагал мне то, чего я выполнить не сумел бы, даже если бы захотел, и что разительно не походило на его собственную сухую, почти аскетичную прозу. Мне потом долго казалось, что он тайно мечтал о таком сугубо «литературном» романе, какой придумал для меня и какой, строго самоограничиваясь, не разрешал писать себе. Что-то в этом духе я ему и ответил. И еще я сказал:

— Но если я хоть часть ваших советов выполню и напишу новые сцены, рукопись разрастется листов до тридцати трех.

— Вот и отлично, — одобрил он. — А потом мы эти тридцать три листа ужмем до двадцати — и будет хорошо.

Я ужаснулся. Такая редакторская вивисекция виделась мне изде­вательством. Я и вообразить не мог, что спустя десять лет напишу фантастическую книгу в тридцать листов и потом сам сведу ее до пятнадцати и буду сетовать, что недовыжал, надо было еще постараться. А Иван Федорович Винниченко, мой редактор по второму реалистическому роману, с удивлением скажет мне: «Вы странный человек: против каждого нового слова, которое я предлагаю вставить в текст, яростно восстаете, а сокращать себя готовы целыми абзацами», на что я весело отвечу: «Сокращение — мать улучшения».

— Сколько вам нужно времени для переделок? — спросил Симонов. — Год или больше?

— Год? — удивился я. — Зачем мне год? Да я все сделаю за два месяца. Я пишу быстро.

Симонов засмеялся. Он тоже пишет быстро, но скрывает это, сказал он. И мне советует скрывать. Московские литераторы считают, что быстро писать — неприлично. Обычный разговор мастеров пера: «Сегодня работа удалась: написал полторы страницы. Но трудился, трудился — семь потов сошло!» Я возразил, что многократный пот ук­репляет созданное вдохновением, но неспособен его заменить. Творческое настроение так убыстряет мысли, что рука начинает от них отставать. Толстой писал до двух листов в день, лист свободно одолевали Достоевский и Диккенс. А Бальзак? А наш современник Фейхтвангер? А ведь неплохие писатели, не правда ли?

— Ну, если и двух месяцев хватит, я постараюсь на это время обеспечить вам соответствующие условия. Против дома творчества не возражаете?

Против дома творчества я не возражал. Я просто не знал, что это такое.

На обратном пути в редакцию (она находилась всего в квартале от места, где мы были) Софья Григорьевна, на минутку задержавшаяся у Симонова, порадовала меня:

— Вы понравились Константину Михайловичу. И знаете, что он сказал? Он хотел бы, чтобы его произведениями занимался такой редактор, как вы.

Было приятно, что я понравился Симонову. Но я решительно не понимал, что он нашел во мне редакторского. Я всегда знал, что я плохой редактор. Мой друг Владимир Михайлович Корначев (в Норильске мы с ним организовывали зародыш вуза — учебно-консультационный пункт московского института) писал неважно, но быстро и умело правил лю­бой мой деловой текст. Я озадаченно поинтересовался у Карагановой:

— Ума не приложу: как выполнить настояния Симонова? Столько он наговорил важного и интересного...

— А вы и не выполняйте ничего, — хладнокровно посоветовала она.

— А если он заметит, что я проигнорировал его замечания?

— Ничего он не заметит. Он уже позабыл, что вам рекомендовал. А если встретитесь еще раз, то нафантазирует нечто совсем иное.

— И такое же умное и блестящее?

— Не хуже, чем то, что вы услышали сегодня. Константин Mиxaйлович умеет быть блестящим.

Спустя некоторое время мне пришлось убедиться в справедливости ее оценки. Меня вызвали на редколлегию, где в последней инстанции решалась судьба романа. Присутствовали, помню, сам Симонов, Кривицкий, Успенская, Голубев, Агапов, Закс, Герасимов — и еще кто-то, в па­мяти не сохранившийся. Симонов представил меня правящему синклиту журнала, сказал несколько поощрительных слов и попросил высказываться. Голубев не имел своего мнения: он роман не читал. Елена Борисовна Успенская сказала, что «В полярной ночи» ей нравится, есть впечатляю­щие сцены, особенно в описаниях зимних бурь, но административные коллизии она бы убрала — зачем они в художественном произведении? Кривицкий согласился, что роман заслуживает печати, но на изъятие административных коллизий он бы не пошел: наша служба — это наша жизнь, разве можно это игнорировать? Зато северные народности, все эти нганасаны, саха, ненцы, — к чему они? Для экзотики, что ли? Они отягчают повествование, их нужно беспощадно вычеркнуть. Евгений Николаевич Герасимов полностью согласился с предыдущими ораторами: роман следует печатать, но зачем сокращать сцены с северными народностями? Фольклор все-таки... И вообще: правительственная забота о приобщении отсталых племен к цивилизации, не ослабевавшая даже в войну, — это впечатляет. Но зачем так подробно расписаны производственные конфликты и всякая технология? Поменьше бы техники и побольше человеческой души, не погасавшей и на ледяном ветру Заполярья. Борис Николаевич Агапов присоединился к мнению товарищей, но не согласился с тем, что надо убрать производственную составляющую. Кому не известно, что наш труд в тылу был фундаментом, на котором базировалась победа на фронте! К тому же производственная тема типична для нашей советской литературы, наши характеры выковываются в труде, наши души живут трудом. Конечно, в романе имеются излишества — например, неинтересные любовные сцены. Их, правда, немного, но они автору не удались, и он, Агапов, убрал бы эти плохо написанные страницы.

В общем, критике членов редколлегии не подверглись лишь картины полярной зимы, все остальное поочередно осуждалось и защищалось. Я растерялся: кто прав?

Симонов подвел итоги:

— Что же, товарищи, мнения высказаны искренние и убедительные. Роман будем печатать. Автору посоветуем учесть все критические замечания и выполнить все, что ему порекомендовали.

Я вышел вместе с секретарем редакции Борисом Германовичем 3аксом. Мы с ним почти подружились, пока я жил в его пустой (он переселился к дочери) квартире в одном из переулочков Тверского бульвара. Закс спросил:

— Как вам показалось на редколлегии, Сергей Александрович?

От волнения я ответил чересчур громко:

— Мне показалось, что я присутствовал на производственном активе обитателей сумасшедшего дома.

Закс сделал испуганные глаза. Я оглянулся. Позади шагал Симонов. Он, несомненно, слышал мою реплику. На его лице сияла улыбка — насмешливая и сочувствующая.

Теперь, завершив свое длинное отступление, возвращаюсь к основной теме. Симонов предписал Константину Воронкову, тогдашнему организационному секретарю Союза писателей, обеспечить меня местом в Доме творчества. Воронков вручил мне направление в «Голицино» (это примерно в сорока километрах от Москвы).

Голицинским Домом творчества заведовала Донцова (или Гонцова?), могучая дама, очень деятельная, очень хозяйственная и очень авторитетная среди писателей. Некоторое время она была «под немцами» (когда те захватили Подмосковье), но это не повлияло на ее административ­ное положение — видимо, даже ретивые «бдюки» не обнаружили за ней заметной вины. А дом был невелик — несколько комнатушек на двух этажах, столовая с одним огромным овальным столом, за ним одновременно раз­мещались все творящие обитатели Дома творчества — человек десять. За пищей и ритуалом размещения следила сама Донцова. Еда была сравнительно вкусна (особенно салаты из моркови и яблок, посыпанных сахаром), а обеденный церемониал строг: никому и в голову не могла прийти озорная мысль усесться не на свой, навечно установленный, стул или вольно налить себе из супницы борща, не дожидаясь, пока все придут и рассядутся.

— Вам представляется лучшая комната, так сказать — единственный наш люкс, — строгим голосом порадовала она меня. — Потому что пожелание Константина Михайловича Симонова и прямое предписание товарища Воронкова. А сидеть за столом будете впереди с краю, это место на все время ваше.

— Тоже люксовое? — попытался сострить я. Но она не приняла шутки. Она взглянула на меня так укоризненно, что мои потенциальные остроты замерзли. Место с краю стола и впрямь числилось люксовым.

В Доме творчества, как я уже писал, было восемь-десять обитателей. Отчетливо помню Артема Захаровича Анфиногенова, военного летчика, переквалифицировавшегося в писатели, заведовавшего тогда научным отделом в Литгазете — мы быстро сошлись, с тех пор он навсегда стал моим добрым другом; Виктора Алексеевича Ардова, скрывавшего уродливость подбородка французской бородкой и не таившего своего умного, острого и хлесткого языка; Наталью Ильину, высокорослую даму из харбинских реэмигрантов, на первый взгляд довольно тихую и умную и, как впоследствии выяснилось, блистательно ироничную, отнюдь не уступавшую Ардову ни в острословии, ни в беспощадном сарказме (она только входила в литературу, ее роман о харбинцах еще томился в «Новом мире», я, во всяком случае, о ней до Голицина ничего не слыхал); маленькую старушку из реабилитированных, еще не оправившуюся от многолетней жизненной трепки, — кажется, критика или литературоведа; и еще старичка Николая Николаевича Гусева, бывшего секретаря Л.Н. Толстого — Гусев трудился над воспоминаниями о своем шефе.

Как-то образовалось трио — Анфиногенов, Ардов и я. Анфиногенов развлекал нас событиями своего военного бытия и очередными литературными новостями. Ардов острил, вспоминал старых писательских друзей-недругов, живописал свое отношение к тем и другим и радовался, что временами находила коса на камень. Например, рассказывал, что, написав эпиграмму на своего друга композитора Мдивани:

Искусству нужен так Мдивани,

Как жопе нужен гвоздь в диване, —

немедленно получил ответ от адресата:

Искусству нужен Виктор Ардов,

Как жопе пара бакенбардов.

Мне показалось, что Ардов больше гордился эпиграммой на себя, чем своей на Мдивани. Я ублажал честную компанию байками из тюремной и лагерной жизни — их выслушивали с большой охотой. Иногда вечерком выпивали — с устатку. Артем после вспоминал, что после каждого трепа и даже возлияния (чаще всего это происходило у меня) я закрывал «свист» словами: «А теперь будем пахать!» — я еще не отучился тогда от ночной работы. В общем — быт сложился у нас веселый и плодотворный, споры до ссор не доходили. Лишь однажды Ардов рассердился на меня. Я как-то заметил, что Зощенко — остроумный писатель. Виктор Алексеевич мгновенно вспыхнул:

— Что за вздор вы городите! Зощенко не остроумец. Я остроумец, а не он. Зощенко — великий писатель, вот он кто. И его до сих пор травят за то, что он великий!

Однажды Ардов сказал, что вскоре из Ле­нинграда в Голицино приезжает Анна Ахматова. Ильина отправилась на вокзал — встретить и при­везти Анну Андреевну. Потом я узнал, что, появляясь в Москве, она обычно останавливается у Ардова (уезжая из Голицино, она поехала именно к нему). Но сейчас ее встречала Ильина, а не Виктор Алексеевич — возможно, его почему-то не было в Доме творчества.

Я страшно разволновался. Мне очень хотелось познакомиться с матерью моего друга. Утром Ильина сказала, что Ахматова приехала и ее поселили в плохом номере, она недовольна своей комнатой. Я отправился к Донцовой и попросил перевести Ахматову из ее плохого номера в мой хороший — ибо я недостоин занимать такую комнату, когда прибыл столь знаменитый поэт, как Анна Андреевна.

Донцова посмотрела на меня как на сумасшедшего.

— Ну и что? Пусть поэт, даже знаменитый... У вас указание Симонова и предписание Воронкова! А у нее что? Никакого переселения не будет! — Не только у Донцовой — у всех директоров Домов творчества знаменитое имя котировалось много ниже, чем бумажка с предписаниями.

Я попросил Ильину:

— Наташа, я близкий друг Льва Гумилева. Уверен, он много писал обо мне Анне Андреевне. Скажите, что я здесь, и спросите, когда я смогу к ней прийти.

Ильина вернулась от Ахматовой преображенная. Я никогда не видел на лицах людей такого сочетания смущения, растерянности, даже вины, хотя в том, что она должна была мне сказать, никакой ее вины не было. А сообщила Наташа примерно следующее:

— Анна Андреевна не хочет вас видеть. Вы ей неприятны. Она огорчена, что в одном Доме творчества с вами. Она не знает, сможет ли сидеть с вами за одном столом. И рада была бы, если бы вообще не пришлось с вами видеться.

Наталья Ильина, умная, приветливая, хотя при случае и беспощадная на язык, страдала за меня, а я был ошарашен. Я попросил разъяснений: отчего такая немилость? Разъяснений не было. Ахматова не пожелала давать их Ильиной, но потребовала: передать мне ее ответ немедленно и точно, чтобы ей не пришлось при неожиданной встрече высказывать мне это публично.

Я заперся в номере. Я не пошел на обед. Я мучительно думал, чем, незнакомый с Ахматовой, мог ее оскорбить. И притом так, что она нанесла мне ответное оскорбление, да еще пригрозила, что дело на этом не кончится, если ненароком встретимся. От­веты всплывали самые разные, и все сходились в одну точку — Лев. Только он мог восстановить мать против меня. Он написал обо мне матери что-то настолько страшное, настолько мерзкое, что она не смогла этого вынести. Но что он мог написать? И почему? Несколько лет мы были близкими друзьями, правда, поссорились, он вызвал меня на дуэль, я принял вызов. Дуэль не состоялась — отложена до лучших времен. Но ведь дружба наша не отложена! Мы тесно общались до самого отъезда Льва. Никто, кроме него, не мог так настроить Ахматову против меня, но и он не мог, немыслимо, нестерпимо было думать, что причина — в нем!

Оскорбление, нанесенное мне Ахматовой, жгло душу. Но в тысячу, в бессчетное количество раз горше было думать, что против меня ее настроил Лев. Дружить со мной, говорить мне — и часто — комплименты, а про себя и на сторону изливать яд, исподтишка порочить!

Лев бывал всяким — ласковым, веселым, гневным, резким, но лицемером он не был. Его часто губила неумеренная прямота, но в иезуитстве, в двоедушии его никто не подозревал — и меньше всего я, знавший его (во всяком случае — в Норильске) лучше всех. Рушилось мое понимание Льва и самое сокровенное в нашей дружбе, это выходило за пределы мыслимого, но чего-либо иного, кроме такой немыслимой, невозможной возможности, я и отдаленно не мог представить.

Время обеда прошло, аппетита не было. Я сходил на станцию — там работала забегаловка, дымная, мрачная, но с пивом и склизкими сардельками. Наполнившись пивом и куснув сарделек, я вернулся до­мой, забыв что-либо взять на ужин. В номере я спросил себя: не лучше ли мне сбежать из Дома творчества? Пока Ахматова в Голицино, я мог бы пожить в Москве у друзей — и тем избавить себя от новых оскорблений. Почти уже решив сбежать, я разозлился. Что за чертовщина! Я и блатным в лагере не уступал, а сейчас удеру от женщины, которая ни за что ни про что нахамила мне — причем хуже, чем могли бы осмелиться «свои в доску». И главное — безо всякой ведомой мне вины. Если ей невыносимо встречаться со мной, пусть не встречается. Пусть попросит еду в свой номер, а я буду хо­дить в столовую, как ходил до ее появления! И я пошел на ужин.

И все-таки страх перед новым — и на этот раз публичным — оскорблением был так силен, что в столовой я появился раньше всех. И пренебрег этикетом вкушания: бесцеремонно, в одиночестве, положил что-то в тарелку и стал поспешно уписывать (надеялся справиться с ужином до появления Ахматовой). Но она возникла в дверях еще до того, как я одолел половину.

Я понял это не поворачивая головы, по шуму в комнате. Все встали, приветствуя ее,— я и не подумал подняться. Боковым зрением разглядел, что Ильина провела ее по столовой и усадила на противоположном конце стола — точно против меня. Я стал есть медленнее, чтобы она не увидела моего волнения. Я притворился, что смакую пищу, отнюдь того не заслуживавшую. И только отставив опустошенную тарелку и протянув руку за компотом, я позволил себе взглянуть на нее.

Зрелище, открывшееся мне, повергло меня в новое смятение. Ахматова и не прикасалась к еде — ее обширный бюст навис над столом, она не отрывала от меня широко раскрытых глаз. Готовится новая сцена, мрачно сообразил я и, судорожно глотнув из стакана, вскочил со своего места. Но еще до того, как я вывернулся из-за стола, она вдруг перебежала всю комнату и преградила мне дорогу — и не одного меня удивила подобная прыть дородной женщины.

— Где ваши усы? — спросила она гневно. — Когда вы сбрили усы?

— У меня никогда не было усов, Анна Андреевна, — ответил я почти вежливо. — И по этой уважительной причине я не мог их сбрить.

— Неправда! Я видела вас с усами!

— Я вижу вас впервые, Анна Андреевна.

— Это было в 1943 году.

— В сорок третьем я сидел в лагере в Норильске, вы не могли меня видеть. Я освободился лишь в сорок пятом.

— И это неправда! Вы тогда прилетели из Норильска в Ташкент и явились ко мне. И были с усами, не отрекайтесь!

Я захохотал. Мне стало легко и весело — и только неудержимым хохотом я мог выразить радость, что оскорбление возникло из-за недоразумения,. Чтобы не зашататься от смеха, я сел на стул. Ахматова вздымалась надо мной, еще возмущенная, но уже растерянная и недоумевающая.

— Анна Андреевна, повторяю: вы не могли меня видеть, — сказал я. — В Ташкенте в 43-м вы общались с нашим со Львом приятелем Виктором Евгеньевичем Луневым. Он, точно, еще с пеленок носил усы. И сейчас с усами.

— Но ваше имя, ваша фамилия...

— Фамилия — моя, усы — его. Когда вы поужинаете, Анна Андреевна, я расскажу, что произошло в Ташкенте в 43-м.

— Я не буду ужинать! Бог мой, какое недоразумение! Идемте сейчас же ко мне.

Она крепко ухватила меня под руку (чтобы ненароком не сбе­жал) и повела к себе. В ее номере я и рассказал о Луневе.

Виктор Евгеньевич Лунев появился в шестом лаготделении, кажется, в начале войны — прибыл с очередным этапом. В каждую навигацию в Дудинку, а оттуда — в Норильск поступали партии зеков (всего тысяч до десяти голов). Умирало за год вряд ли много меньше — от тяжелого труда, холода, недоедания, так что население Норильска если и рос­ло, то медленно. Лунева по прибытии назначили куда-то в диспетчерскую и поселили в бараке металлургов (это было сравнительно привилегированное место).

Он появился у нас вместе с дневальным — тот объявил, что новому жильцу приказано отвести хорошее местечко, так что кое-кому придется перебазироваться. Мы дружно и горячо возмутились. Лунев к металлургам не принадлежал, он был «ла­герным придурком» (то есть работником административного аппарата). Ка­кого шута его суют к нам?

Горячей всех негодовал я. Мне Лунев не понравился. Он стоял посреди барака с чемоданчиком, худой, усатый, волосатый, и как-то надменно нас разглядывал. На несимметричном его лице проступала презрительная усмешка. Он внутренне потешался над нами. Он твердо знал, что все протесты «горлопáнья и блатнú» (мы представлялись ему именно такими) не способны противостоять воле начальства. Естественно, для него очистили парадное местечко — на свету, недалеко от стола, и на несколько лет оно стало его «укрывищем», по архаическому выражению Солженицына, обожающего поражать читателей нерукотворными словесными окаменелостями.

Поздней мы с Луневым сдружились, и как-то он рассказал мне о своем первое впечатлении от барака № 14.

— Орали вы все нестройно и глупо. А больше всех ты, Сергей. Поверь, я еще никогда в жизни не встречал человека несолидней, чем ты. Непостижимо, каким ты умеешь быть легкомысленным — и в самом скверном значении этого слова, уверяю тебя.

Возможно, он был прав. Он способен был выглядеть солидным, даже резвясь. Кроме того, он был умен, язвителен, любил шутить и куролесить. Именно это и привлекло меня, когда я предложил ему своеобразное соавторство: я буду писать, он — редактиро­вать. Сдавать издателям — его дело (статья у него была полегче моей — срок из детских, а я понимал, что мое прошлое будет душить меня и на воле), но под нашим общим псевдонимом: «Петр Селена». В этом сочетании отразилась и каменность моей фамилии (Штейн — камень — Петр), и его, Виктора Лунева, лунность.

Ничего толкового из литературного братства не по­лучилось. Я сердился, что он вмешивается в мою писательскую работу, он утверждал, что автор я еще кое-как, а в соавторы не гож: выхожу из себя при самом пустяшном замечании. Но способность к мистификации, фундамент нашего неудавшегося литературного производства, в нем не выгорала еще долго.

В 43-м его, уже освобожденного, по комбинатским делам отправили в командировку в Ташкент (именно в Ташкенте жила тогда Анна Ахматова). Надо ска­зать, что к этому времени Лунев уже познакомился со Львом — встречал его у меня, подсаживался к нам, деятельно входил в наши беседы и оказывал потомку великих родителей соответствующее уважение. Лев принимал его почтительность как должное, был вежлив и даже добродушен, но близких отношений не налаживал.

Вернувшись из Ташкента, Виктор как-то небрежно сказал мне:

— Знаешь, в Ташкенте я побывал у Анны Андреевны Ахматовой. Надеюсь, ты не рассердишься: я назвался не своим, а твоим именем. Что она знает обо мне? А ты друг ее сына, это все-таки визитная карточка. К тому же мы с тобой соавторы, можно сказать — одна творческая душа в двух телах.

— Как же она тебя приняла?

— О, прекрасно! Расспрашивала, угощала чаем (в Ташкенте очень трудно с продуктами), читала свои стихи, старые и новые. Но характер у нее похуже твоего — не терпит критических замечаний. Все вы, поэты, на один лад.

— Ты был у нее один раз?

— Нет, несколько вечеров. Днем было не до нее: выполнял командировочное задание. Было очень трудно. В тылу совершенно невероятная обстановка! Такая энергия, такой темп — не поверишь.

И Лунев заговорил о своих командировочных приключениях. Потом он еще часто выезжал «на материк» — и с тем же азартом рассказывал, что видел, что сделал и что вообще делается. Я, изголодавшийся по живым вестям, развешивал уши. Впоследствии из повествований Виктора я слепил рассказ о хлопотах энергичного командировочного (самому мне он искренне нравился — а сейчас таится где-то в шкафу, придавленный другими порыжевшими, так и не увидевшими свет рукописями).

— Теперь послушайте, что у меня произошло с человеком, назвавшимся вашим именем, — сказала Ахматова.

Она, конечно, приняла Лунева душевно и хлебосольно. Главной темой их первой беседы был сын — его жизнь, его настроение, его планы и мечты. Виктор врал о Льве вдохновенно и убедительно, оставаясь в рамках правдоподобия. Он мог зачаровать любого слушателя — и, естественно, заворожил Ахматову. В благодарность она стала рассказывать о своей жизни, начала читать стихи. В последнюю встречу заговорили о ее переводах из Корана. Виктор, умница и остряк, большого ис­кусства не понимал. К тому же иногда ему отказывала элементарная тактичность — и тогда он приобретал прямолинейность стенобойного тарана. Для убеждения любого начальника в своей правоте такая напористость еще подходила, но в споре с большим поэтом решительно мешала.

Хорошо поставленным баритоном, переходящим на иных словах в патетический бас, Лунев убеждал Ахматову, что она поступает непатриотично, посвящая свое драгоценное время и отдавая свой редкий поэти­ческий дар пропаганде религиозного мракобесия, да еще какого — пережившего свой век ислама! Пусть она вдумается в современность, пусть вглядится в великие события, совершающиеся вокруг нее, даже в том же Ташкенте! Неужели ей самой не стыдно игнорировать великую борьбу своей родины против жестокого врага и отдаваться бредовым высказываниям выжившего из ума древнего пророка? Он скажет больше: с детства душевнобольного Магомета!

Она пыталась возражать, старалась объясниться. Но Виктор был из людей, до конца настаивавших на своей правоте, как бы она ни была узка. Он мне часто говорил: «Я не остановлюсь, пока не докажу любому оппоненту, что прав я, а не он». И не останавливался, пока Ахматова не выгнала его из квартиры и не запретила когда-либо впредь показываться ей на глаза.

Думаю, он, и выгнанный, искренне считал, что прав, а она недостойна звания патриотки, но из осторожности все же не рассказал мне о финале их знакомства. Я любил хорошую шутку, не возражал, когда посмеивались надо мной, сам над собой подшучивал. Но такого разговора с Ахматовой от моего имени я бы не потерпел. Лунев удивлялся, что я выхожу из себя, когда он, формальный соавтор, пытался вставить свои словечки в мой текст. Здесь было тысячекратно хуже: он пытался перечеркнуть и переписать мою душу. Он правильно сделал, что не признался в своем поступке. Мы встречались еще семь лет, но, словоохотливый и общительный, при упоминании встречи в Ташкенте он крепко замыкал рот.

— Как я виновата перед вами, — сказала, волнуясь, Анна Андреевна. — Я сейчас думаю, что было бы, если бы вы, так мной оскорбленный, и вправду уехали из Голицино, а я узнала потом, что вы и тот, кто назвался вами в Ташкенте, совершенно разные люди. Да ведь вы с ним и внешне непохожи! Как я теперь смогу оправдаться перед вами?

— Предложу радикальный способ, — сказал я весело. — Давайте забудем то печальное событие в Ташкенте. Будем считать его небывшим.

Около десяти дней пробыла Анна Андреевна в Голицино, и не было дня, чтобы я не проводил у нее часа два-три. Я слушал ее, говорил с ней, любовался ею. Она была величественна. Рослая, полная, неторопливая, она не ходила, а шествовала. Походка людей очень редко соответствует одновременно фигуре и характеру. Смешно глядеть, как колченогий коротыш тщится придать своим движениям величавость, а массивный мужлан — юркость. Ахматовой, в старости если и не массивной, то внушительной, подходила только неспешность — она так и двигалась. Гарнитур — колье, серьги, браслеты — из крупных темных гранатов идеально гармонировал с фигурой, движеньями и речью. И даже голос ее, чуть-чуть хрипловатый, чуть-чуть шепелявый, очень схожий с голосом сына, отвечал всему ее облику. Эта необыкновенная женщина просто не могла, не имела права говорить как все мы, она должна была выделяться и поражать даже голосом.

И она очень напоминала сына. При первой встрече со Львом я воскликнул: «Как вы похожи на отца!» — тогда я знал Ахматову лишь по ранним фотографиям и альтмановскому портрету. Но этой пожилой, располневшей женщине он был подобен всем — и лицом, и голосом, и разговором, только, мне кажется, рост у него был пониже, да и величественности он не перенял.

Наши беседы сосредоточивались вокруг нескольких тем. Главной из них был, конечно, Лев. Тут рас­сказчиком был я, она неутомимо слушала. Споров у нас не было, только, выражаясь по-современному, обмен инфор­мацией. Единственное исключение — случай, когда я помянул, что у него отличные стихи, прочел наизусть одно или два и высказал убеждение: Лев еще прославится как поэт. Анна Андреевна вдруг рассер­дилась.

— Он не поэт. Мало ли кто в молодости пишет стихи! Он рожден ученым, история, а не поэзия — вот его дорога.

Я попробовал возразить. Образ поэта, сына двух крупных поэтов застрял в моем мозгу, как топор в коряге. Она рассердилась еще больше.

— Хватит, что его родители были поэтами. Он уже начал совер­шенствоваться в науке. И можете мне поверить — успехи у него незаурядные.

Неубежденный, я замолчал. Она заметила, что я остался при старом мнении, и заговорила мягче:

— И очень, очень вас прошу при встрече или в письмах не уговаривайте Льва отдавать свои силы поэзии. Вы умеете убеждать, ваши слова ему приятны, а это совершенно ни к чему. Для него и для науки станет несчастьем, если он пойдет по литературной стежке. Все будут сравнивать его с родителями. Зачем это ему?

Я не стал ее переубеждать: в таких спорах нет убедительных доказательств, ответ могло дать лишь время. И время ответило: Анна Андреевна видела будущее Льва зорче, чем я. Я не отрекся от веры, что он — серьезный поэт. У меня на полке лежит его драма о Джамуге и Темучине, она написана звучными, сильными стихами. Три-четыре таких произведения могли прославить Льва как серьезного мастера русской поэзии. Но рядом со стихотворной драмой поместилось и трех­томное исследование «Этногенез и биосфера Земли» — философия истории, изложенная не в спекулятивной манере мыслителей прошлых веков, но опирающаяся на реальные факты, открытые и обоснованные в нашем веке — грандиозная концепция закономерных рождений, расцветов и гибели государств и обществ, опровергающая стандартное воззрение о непрерывном, почти автоматическом прогрессе человечества, лишь периодически меняющем свои социальные одежды при безостановочном беге вперед. А рядом с «Этногенезом» теснятся другие книги и статьи Льва — анализ жизни второстепенных и крупных народностей, труды мыслителя, раскрывающие внутренние пружины хода истории. Анна Андреевна взяла верх в нашем споре. Известный всем поэт Лев Гумилев не вышел на литературную арену. Зато состоялся ученый, доктор наук, оригинальный философ истории.

Лев в это время сидел в лагере. Кто-то мне говорил, что его отсидка в Норильске была второй. Значит, в пятидесятых он тя­нул свой третий лагерный срок. На год, когда я попал в Голицино, пришелся пик того процесса, который хлестко поименовали «эпохой позднего реабилитанса». Ахматова приехала в Москву хлопотать об ocвобождении сына. Она просила помощи у Шолохова, он обещал написать письмо председателю Верховного суда Волину (или Волгину?). Однажды утром Ахматова уехала из Голицино на свидание с Михаилом Андреевичем. Верну­лась она поздно вечером и позвала меня к себе. Взбудораженная и взволнованная, она рассказала, что произошло.

Когда она пришла, ей сказали, что Шолохова нет в Москве. Она возразила: он сам назначил ей встречу на этот день и час — наверное, уезжая, он ей что-то оставил. Тогда ей объяснили, что Михаил Андреевич вообще-то дома, но нездоров и принять ее не может. Она поняла, что он запил и лежит в бесчувствии. Надо было уходить. Вдруг появился Шолохов — в одном исподнем. Он был пьян, язык еле вывязывал слова:

— Аннушка, заходи. Я это... написал. Возьмешь.

Он провел ее в свой кабинет и, не одевшись, даже халата не накинув, стал рыться в ящиках стола, вышвыривая на пол одну бумагу за другой. Обещанное письмо все не попадалось. Очевидно, Шолохов не написал его, но забыл об этом. Она сказала: не надо рыться в столе, она зайдет в следующий раз, пусть он только скажет — когда. Он не пустил ее.

— Было же, Аннушка. Где-то лежит...

И продолжал ожесточенно расшвыривать бумаги.

Обещанное письмо отыскалось на дне одного из ящиков. Шолохов вручил его Ахматовой и широко зевнул:

— Отправляй. А я — извини — посплю.

И, как был, не собирая разбросанных по полу бумаг, повалился на диван.

Уже не скажу, показала ли мне Ахматова то письмо, но как расстроганно блестели ее глаза, как взволнованно подрагивал голос, когда она говорила о пьяном Шолохове — помню.

Второй темой бесед была поэзия. Ахматова привезла с собой французскую книжку — переводила чью-то повесть для советского издательства. Не знаю, почему она не дала мне своего цикла стихотворений о сыне, возможно, не захватила их с собой в Москву: по тем временам они были небезопасны. Но она дала мне — и не на один вечер — «Поэму без героя».

Название не корреспондировало сути: герой в поэме был — сама Анна Андреевна. Помню такие строки:

И моей двусмысленной славе,

Двадцать лет лежащей в канаве,

Я не так еще послужу!

Я читал и перечитывал поэму (к сожалению, ничего не переписывал) —упивался лучшими строчками, твердил, запоминал, но так и не запомнил самые выразительные главы. Меня восхищали нежные мелодии, тревожило колокольное вступление и блестящие картины бала-маскарада с его веселыми и трагическими масками и огромной силы сцены самоубийства юного поклонника, застрелившегося у ее квартиры в момент прощания.

И лицом на порог —

Да простит тебе бог!

Превосходно была передана общественная тревога, охватившая окружение Ахматовой перед войной — ожидание крушения и непроизвольное стремление ускорить бурю, которая, возможно, несет тебе гибель. Вполне по старой формуле: «Лучше страшный конец, чем страх без конца». Не уверен, что Ахматова точно передала реаль­ные настроения того времени, но если это была подправленная последующими событиями реминисценция, то, во всяком случае, стихи звучали вели­колепно, а для меня это было главным.

Полный вечер мы говорили с ней о «Поэме без героя». Она охотно выслушивала мои восторги, расшифровывала автонимы (помню, что и Николай Степанович упоминался, и юноша Князев, и многие другие). Как все настоящие поэты, она объективировала себя, становилась для самой себя персонифицированным литературным явлением — и поэтому с Ахматовой можно было говорить о ней как о некоем объекте, отличном от нее, сидящей на диванчике. Но в понимание себя, кроме литературоведческой оценки, подправленной самолюбием, она вносила и типично женский взгляд — как бы со стороны.

— Почему, однако, наши директивные това­рищи так взъелись на вас, Анна Андреевна? — спросил я. — После травли двадцатых и тридца­тых годов вы были вроде бы уже начисто реабилитированы. Ваши военные стихи печатались и звучали с эстрады, их хвалили дежурные критики. И вдруг оскорбительная речь Жданова, новый необъяснимый цикл гонений... Критика того, что вы печатали до революции! Должны же быть причины основательней, чем ворошение старых грехов. Откуда столь поздно пробудившееся злопамятство?

— Все вполне объяснимо, Сережа, — в последние дни своего короткого пребывания в Голицино она называла меня уже по имени. — Знаете, случилась одна сцена, которую наши руководители мне не простили. Это было на писательском собрании. Я вошла в зал из задней двери и направилась к первым рядам. И весь зал встал, и, пока я шла, мне так аплодировали! Это была овация, Сережа, первый торжественный прием за столько лет... Я была счастлива, но уже тогда — сразу — поняла, что такого счастья мне не простят.

Она, темная лицом, раскраснелась, вспоминая ту радостную писательскую овацию. Я и сейчас вижу крупные гранаты на ее шее и щеки, цветом вряд ли им уступавшие. Она озарялась изнутри, заново переживая заслуженное, но опасное свое торжество. Думаю, какая-то правда в ее словах была — но не вся, а лишь часть. Главное божество страны не любило вербовать в сонм своих серафимов святых другой веры. Для верховного самодержца Анна Андреевна была и, конечно, осталась «чертом не нашего бога».

И еще одно воспоминание. Кто-то из обитательниц Дома творчества — не помню ни имени, ни облика — за вечерним столом нехорошо отозвался о Марре. Двадцатый съезд КПСС планировался лишь на следующий год, ругать Сталина пока было немодно — люди, шумней всех возносившие осанку грозному монарху, еще не стали упоенно, с радостным облегчением души, его поносить. И языковедческие откровения вождя продолжали числиться в шедеврах филологии. Та дама, ни облика, ни фамилии которой я не помню, заученно повторила сталинскую статью, видимо считая, что говорит умно и оригинально. Я не стерпел. Я около часа убеждал ее, что Николай Яковлевич Марр был великим ученым, что он, наряду с западными мыслителями, Дюркгеймом, например, по-новому сформулировал великую загадку происхождения языка. Ему не удалось ее решить, согласен, но его противники не осмеливались даже подступиться к решению. Вероятно, я что-то говорил и о своей «вещной» языковой гипотезе. Я доказывал, что у каждого прокладывающего, как Марр путь по целине имеются огрехи. А те, кто их замечает, делают на этом имя и составляют капитал, а сами неспособны и шага сделать в неизвестное. Иные критики научных титанов лишь паразитируют на науке, а не развивают ее. А если и способствуют движению, то лишь пинками в зад.

Не уверен, что я не перешел на обычную лекцию, но споров не было — все слушали молча. Артем сказал, что речь была блестящей, Анна Андреевна выругала меня.

— Как можно быть таким неосторожным, — выговаривала она мне тем же вечером. — Ведь вы никого здесь по-настоящему не знаете. Только меня, но я не в счет, я слушала с интересом: у вас неожиданный взгляд на Марра. А если кто-нибудь напишет донос, что выступаете против утвержденных воззрений? Вы недопустимо откровенны — это может помешать вашему выходу в литературу!

Она уезжала из Голицино в сумрачный предзимний день. Тучи тащились над самой землей, дорога раскисла. Провожали ее Ильина и я. Ахматова шла посередине, опираясь на наши руки. Наташа уехала с нею — я остался. По дороге Ахматова сказала мне:

— Я прошу вас: не будьте болтливым. Я очень хочу, Сережа, чтобы ваш роман вышел в свет. А будете держаться столь открыто, перед ним воздвигнут барьеры. Поверьте моему опыту: я столько испытала от слухов и сплетен обо мне! Многие наживаются на доносах и клевете. А на вас и клеветать не нужно — только перескажи, что иной раз вы болтаете. Помните об этом, Сережа.

Это было ее последнее наставление. Больше я с ней не встречался. И, часто вспоминая ее советы, я редко находил в себе умение им следовать. Видеть свой роман напечатанным я хотел. Но он не до­ставил мне ни чести, ни славы, ни душевного удовлетворения. Потери в нем были крупней приобретений. Я не послал его Ахматовой на па­мять о нашем знакомстве — он того не стоил.